В московском издательстве «Пальмира» готовится к выходу книга Михаила Гундарина о Евгении Попове — одном из самых ярких рассказчиков последней четверти XX века, первую публикацию которого сопроводил своим предисловием Василий Шукшин. К Шукшину Попов относится с огромным уважением, считает его великим писателем — и своим учителем. Но учился он и у своего старшего друга Василия Аксенова. Поэтика самого Попова строится в известном смысле на сочетании «шукшинской» и «аксеновской» линий, что в итоге дает интереснейший результат. Мы предлагаем главу с разбором «шукшинской» темы в жизни урожденного сибиряка, лауреата многих премий, нынешнего президента Русского ПЕН-центра Евгения Попова, которому в 2021 году исполняется 75 лет.

От «Байкала» от Питера

В биографии нашего героя, как мы видели и увидим еще, «поворотных пунктов» было множество. Но один из самых важных — публикация в «Новом мире» рассказов с предисловием Василия Шукшина. К моменту публикации Шукшин уже два года как умер (в возрасте всего-то 45 лет). Он (не полностью, но в значительной мере) перестал быть нежелательным и вредным для власти, наоборот, «наверху» сообразили, что привечая народного любимца, теперь безопасного, можно вызвать одобрение народа. И вот у Шукшина, которому приходилось жестко «пробивать» свои книги, а особенно фильмы (постановку «Степана Разина» он так и не пробил), выходит двухтомник прозы, плюс книга киноповестей, он даже становится посмертно Лауреатом Ленинской премии — за фильм «Калина красная». Это происходит в 1976 году — как раз тогда, когда появилась публикация Евгения Попова. (Кстати, в большинстве читательских писем — а их в редакцию «Нового мира» поступило немало — содержался ехидный вопрос: как это ПОКОЙНИК ухитрился написать предисловие? Увы, сейчас публику интересует примерно то же, что и тогда.) На самом деле предисловие, написанное несколько лет назад, долго не устраивало литературное начальство, равно как и рассказы, которым оно было предпослано. Как пишет наш герой, «я на десяток писем вяло ответил, что, дескать, живем в непростое время, товарищи, не все сразу печатается, намекал на цензуру, которая, кстати, и у самого Шукшина в предисловии вырезала, к моему изумлению, абзац, но мне в редакции посоветовали лишнего не болтать, на чем я свою переписку с народом и закончил».

Но вернемся на три года назад. Напомним, наш герой живет богемной жизнью в Кроасноярске. Его почти не печатают — а если и печатают, то преимущественно в юмористических изданиях… И вот появляется на горизонте перспектива опубликовать уже серьезные вещи в литературном журнале «Байкал» (Улан-Удэ). Журнал в своем роде знаменитый — ведь именно здесь некоторое время назад как-то случайно прошли публикации Аркадия Белинкова и братьев Стругацких. Скандал был грандиознейший!

Но журнал продолжал издаваться и вот был готов напечатать что-нибудь из рассказов нашего героя. Однако в редакции ему прямо объяснили, что необходимым условием публикации является врезка, предисловие кого-нибудь известного и московского. «Кого?» — спросил он. «Ну, хотя бы Шукшина», — ответили ему. «Я с ним не знаком». — «А вот уж это не наше дело».

Тогда герой позвонил в Москву, в «Новый мир», где лежало несколько его «непроходных» рассказов (впрочем, повторим, других у него, можно сказать, и не было). В редакции у него были свои ангелы-хранители из отдела прозы: Анна Самойловна Берзер и Ирина Петровна Борисова. «Пробить» публикацию они, увы, не могли, но наш герой был счастлив во время наездов в Москву бывать в редакции самого известного литературного журнала того времени, узнавать литературные новости, а то и получать для прочтения запрещенные книги, вроде «Ракового корпуса». Благодаря именно этим замечательным дамам рассказы попали к Шукшину.

Евгений Попов вспоминает: «Я был потрясен, ибо уже через ДВЕ НЕДЕЛИ я получил на почте (e-mailов тогда, естественно, не было) конверт с шукшинским предисловием к моим рассказам. То есть, Шукшин сработал мгновенно. Так практически не бывает в литературной среде, где каждый занят большей частию самим собой, где у всех свои проблемы».

Это предисловие не устроило тогда «Байкал», было напечатано лишь при публикации рассказов в «Новом мире» и стало поводом, чтобы встретиться с Шукшиным лично.

Кстати, как выяснилось много позже, Шукшин попросил у Берзер разрешения показывать тексты Евгения Попова и в других журналах, раз в «Новом мире» они «пока не идут». По словам нашего героя, он был тронут и горд этим. Его можно понять! Шукшин (сам!) отнес рассказы в «Наш современник», однако через несколько дней в «Новый Мир» прикатил курьер на мотоцикле и вернул рассказы, сообщив: «Они нам не подходят». В общем, понятно и это — широтой взгляда «Наш современник» не отличался, кажется, никогда.

Кроме того, уже после личной встречи с нашим героем Шукшин послал своему другу Глебу Горышину в Ленинград записку,

которая начиналась словом «Глебушка» (как увидим из воспоминания о ней нашего героя, это была уже вторая записка в редакции ленинградских журналов). Горышин в то время руководил журналом «Аврора» и, выполняя просьбу своего друга, далеко не сразу, но напечатал Евгения Попова, даже с фотопортретом. Правда, теперь наш герой говорит, что эту публикацию хотел бы попросту забыть. Ибо Глеб Александрович выбрал из всей кипы предложенного два самых слабых рассказа. Рассказы были «геологические», видимо, потому, что Горышин сам ходил в экспедиции. По позднейшей оценке их автора — рассказы были «довольно слюнявые», хоть и без «советской подлянки», но с «неловкой глупостью». А Горышина, вспоминает наш герой, он встретил во дворе СП СССР в 1979-м, когда громили «Метро́поль» (неофициальный альманах, жестко запрещенный властями, — его редактором-составителем был Евгений Попов вместе с Виктором Ерофеевым и Василием Аксеновым). «Что, сильно жмут?» — участливо спросил он. «Сильно», — ответил Евгений Попов, и с тех пор они не виделись.

Говорит Евгений Попов

Осенью 1974-го я на колхозном рынке сибирского города Абакана внезапно узнал из обрывка газеты о смерти Василия Макаровича Шукшина.

Какой колхоз был в 1974 году, такой и колхозный рынок. На рынке очередь за мясом занимали наудачу, к пустым весам, а уж будет ли на этих весах свининка, говядина или баранинка — это уж как повезет, может, и вообще ничего не будет. Картошку еще не всю распродали, в том году картошки много уродилось, орехи кедровые еще продавали, грибы «свинушки», мед, алтайское мумие, рябину, калину, березовые веники, грузины еще торчали со своими баснословно дорогими фруктами.

Ветер гонял по мусорной базарной площади обрывок какой-то газеты, который вдруг чудом прибило к моим ногам. Я увидел некролог, знакомое лицо и сразу же все понял, сразу же поверил в то, что Василия Макаровича Шукшина уже больше нет

на этом свете. Год назад я был у него в Москве на улице Бочкова, 5, и тот, узнав, что я еду из города К. в Ленинград, написал мне записку к заведующему отделом прозы одного знаменитого ленинградского журнала на букву «З», где просил «Сашеньку» посмотреть рассказы «талантливого сибирского парня».

— Можно, я сам в редакцию не пойду, а рассказы по почте пошлю вместе с вашей запиской? — предложил я.

— Нельзя, — отрезал Шукшин. — Рассказы нужно самому в редакцию носить, это унижение входит в писательскую профессию. Я вот позавчера к этому самому Сашеньке в гостиницу ходил, как проститутка. На подборку его уговаривал…

— Так вы же лауреат, разве у вас тоже есть какие-то проблемы?

— Не того я сорта лауреат, чтобы все мое с колес печатали. Все пробивать приходится.

— Не знаю, как я с такой рожей в редакцию пойду, — гнул я свое.

Шукшин подошел ко мне совсем близко и как-то по-киношному, по-режиссерски осмотрел мое лицо.

— Рожа как рожа, — констатировал он. — Можно с такой рожей по редакциям ходить. Только пьяный по редакциям не ходи. Пьяный вообще никуда не ходи, сиди дома да пей, — неожиданно вывел он. И добавил: — Вообще, я ж говорю, уезжать тебе надо из Сибири.

— Волки по этим редакциям сидят, — пробурчал я.

— Какие волки! — воскликнул Шукшин. — Не волки, а шакалы гребучие, — употребил он более непристойное прилагательное.

Окрыленный его словами, я вышел на улицу Бочкова и, думая о наказах мэтра, с разбегу налетел на какую-то деревяшку временного тоннеля, возведенного около дома Шукшина по случаю перманентного строительства Москвы. Больно было, но меня дожидался на улице с литром водки мой верный товарищ, поэт Лев Таран, автор подпольного романа в стихах «Алик плюс Алёна», выдающегося сочинения, которое увидело свет лишь в постперестроечные времена, когда его создатель уже давным-давно лежал в могиле на Красной горке подмосковного города Дмитрова.

Мы распили литр непосредственно перед моей посадкой в поезд «Красная стрела». А одет я тогда был так — коричневая мятая шляпа без ленты, сапоги и черное кожаное пальто, скорее всего снятое много лет назад с убитого фашистского летчика и проданное мне за 15 рублей на рынке города К., подобном вышеописанному, абаканскому.

Поэтому, когда я явился в чинную ленинградскую редакцию следующим ранним утром, «дыша духами и туманами», с огромным фингалом под левым глазом и сказал заплетающимся языком, что вот письмо от Василия Макаровича, рукопись у меня интеллигентная питерская старушка в седых кудельках с ужасом, но, конечно же, приняла, однако из журнала «З» мне не ответили ничего и никогда, даже когда я, извините, тоже стал знаменитым и лично познакомился с «Сашенькой».

Что сказал Шукшин

Что касается самой сенсационной и судьбоносной публикации, то напечатали рассказы Попова в «Новом мире» тогда, когда прозой там стала заведовать Диана Варткесовна Тевекелян, дочка номенклатурного советского писателя (главным редактором «Нового мира» был тогда тоже вполне номенклатурный поэт Сергей Наровчатов). Про отца Тевекелян известно (из энциклопедии), что в годы гражданской войны он был бойцом отряда ЧОН, в 1921 году вступил в ряды партии большевиков, позднее был направлен на партийную работу… Диана Варткесовна, видимо, оснащенная таким родством, никого не боялась и дала добро на публикацию двух рассказов и предисловия к ним.

Отметим: судя по собранию сочинений В. М. Шукшина, отзыв о работе молодого писателя Евгения Попова был для него абсолютно уникальным делом. Шукшин избегал публично отзываться о своих коллегах или литературной молодежи, тем более так развернуто (исключение делалось только для Василия Белова). Тем ценнее его предисловие, по сути, небольшая статья-рецензия.

В самой прозаической публикации, к счастью, не тронули ни слова, зато предисловие Шукшина почистили. Прежде всего,

там, где он говорит о рассказах, не вошедших в новомировскую публикацию. Мы приведем эту небольшую вещь, сравнив напечатанный в журнале вариант с оставшимся в рукописи. Журнальный вариант процитирован, само собой, по публикации в «Новом мире» (четвертый номер за 1976 год). Рукопись, находящаяся в архиве — по восьмому тому, вероятно, самого полного на сегодня собрания сочинений Шукшина (Барнаул, 2009).

«Писать рассказы так же рискованно, как, например, рассказывать анекдоты (пусть простится мне такая вольность): и есть люди, которые совершенно не умеют рассказывать, но все равно рассказывают — хочется, можно рассказать некстати, можно рассказать старый анекдот, который все уже знают, а улыбаться будут из вежливости, что ужасно. Словом, даже если и есть история на памяти и есть умение ее рассказать, еще надо почувствовать, что она нужна. Нужна ли? И это-то в «профессии» рассказчика едва ли не самое трудное — понять: нужен ли ты сейчас со своей историей?

Я прочитал рассказы Евгения Попова и почувствовал, что мне, например, они были нужны. Рассказы состоялись. Я постараюсь объяснить почему.

Сибирь. Огромная, прекрасная, суровая часть России, и она продолжает осваиваться. Обывателю там еще неудобно, человеку энергичному, угловатому — вольно, ибо всяких клеточек меньше, не так гнетет мнение «княгини Марьи Алексеевны» — она еще туда не приехала. Сибиряки, я заметил, попадая в европейскую часть России, любят рассказать про медведя, который ездит в трамвае без билета. То есть не делайте-де из нас «тунгусов», мы такие же, как вы здесь, в Москве или Алупке. Это не из бахвальства делается, не из ущемленного самолюбия, а из желания сказать: не хватайте через край. Но все же я бы не рассказывал про медведя. Не надо. Конечно, медведи не ездят в трамваях, но и отрицать этого не нужно: так убирается особенность края, особенность людей, там живущих. Да, это Россия, но ее наименее устроенная часть, и чего же скрывать, что жить там труднее.

Рассказы Е. Попова про Сибирь. Я даже не знаю, сибиряк ли он родом, но он ухватывает трудноуловимое состояние людей, когда они еще в поисках лучшего места, в нешуточной борьбе

за человеческую жизнь и еще должны только породить исторически стойкое потомство. Тут писателю-рассказчику (каковым, на мой взгляд, является Евгений Попов) непочатый край работы. Но работы очень нелегкой, неблагодарной. Нелегкой — потому что легко сбиться на экзотичность, на исключительную ситуацию, на сочинительство. Неблагодарной — потому что это уже про неустроенность, про людей неустроенных, «невезучих», про людей с трудной судьбой не любят читать и слушать.

Е. Попову многое удается. Многое еще не удается. По-моему, все же грешит «густотой» письма. Ворочает. Должен прийти известный авторский покой. Попроще бы строить авторскую фразу… Но зато как точен в диалоге! И как по-хорошему скуп в выявлении искреннего чувства героев.

Я так думаю, что должна уйти — я бы изгонял ее — такая ироничность авторская. Но не совсем: где она тоже сдержанна и мимоходом, она работает, тогда я поддаюсь ее обаянию. Это там, где она похожа на то, что сострил усталый человек — мало, неохотно и не в этом дело.

Хочется посоветовать автору держаться самим им найденных «законов» своего творчества: место действия — Сибирь, правдивость рассказов, прямота, искренность. От души с радостью и надеждой желаю молодому писателю выносливости и успеха. И хоть немного — удачи».

Как видим, Шукшин оценил то, что и было самым ценным в ранних рассказах Евгения Попова: умение рассказывать кратко и емко; давать необычных для публики, но реально существующих «проблемных» героев, причем давать умело, мастерски — через диалог, через «скупое», одним штрихом изображение их чувств. Крайне важно, что Шукшин увидел совпадение места действия рассказов Евгения Попова с действительным миром сибиряков. Миром, повторим, нелегким, проблемным — но в чем-то более свободным (Шукшин дипломатично написал, что свободным от диктата «общего мнения», но мы понимаем, что имелись в виду и иные рамки — прежде всего, идеологические).

Понимаем мы также, от чего Шукшин предостерегал молодого (ему в момент написания рецензии было немногим больше 25 лет!) автора: от увлечения надуманной экзотикой, «густой»,

сказовой речью, чересчур невероятными ситуациями… Ну и иронией, конечно.

А вот что исключено из рукописи: характеристика двух рассказов, которые редакция не опубликовала. Больше всего Шукшину понравился рассказ «Обстоятельства смерти Андрея Степановича», мы о нем уже говорили. «Как рванулось неподдельное горе в биче Парамоте… Заплакал человек, и у меня тоже горло сжалось. И правдив весь человек». Это дано как иллюстрация умения автора рассказов изображать искреннее чувство.

А меньше всего понравился Шукшину рассказ про шашлычки (по ошибке он назвал их в рукописи «Свежие», а не «Свиные»). И тем, что рассказ этот «подмосковный». И, главное, иронией: «где она сплошняком, она лишает рассказ своеобразия и ставит его в ряд таких, какими пруд пруди в нашей литературе».

В общем, в полном отличие от Катаева, как помним, сетовавшего на «грубость» рассказов Евгения Попова, «энергичные», «угловатые» герои, как и соответствующий язык их диалогов, пришлись Шукшину по душе.

Давайте посмотрим на рассказы, опубликованные в «Новом мире». Прежде всего отметим, что на сам момент публикации наш герой писал уже несколько иначе. Он уходил от формы рассказа-анекдота. В его рассказах стало куда больше «нормальных», не экзотичных людей. Не бичей, но средних горожан, даже не жителей деревенских по сути предместий больших городов. Кстати — думаем, Шукшин, чьи герои, особенно самые трагические, «зависли» между городом и деревней, в рассказах Евгения Попова оценил и яркое описание этого «зависания». Оно очевидно, например, в опубликованном журналом рассказе «Барабанщик и его жена барабанщица».

В этом рассказе со сказочным зачином «Жила-была на белом свете одна тихая женщина-инвалид, и жил на белом свете вместе с нею один бойкий барабанщик из похоронного оркестра» говорится о двух аутсайдерах, живущих во «времянке» среди большого города — то есть как бы отдельно от счастливых его обитателей. Бойкий барабанщик пьет, унижает свою кроткую жену (в катастрофе ей раздробило голову), параллельно рассуждает об отвлеченных материях, и даже активно экспериментирует: он

«изучал вопросы прочности окружающих предметов. Он сильно сокрушался, что нет на земле прочных предметов. И что если есть вроде бы прочный предмет, то обязательно имеется предмет еще более прочный, который может разрушить первый предмет». В этой «экспериментальной натурфилософии» он схож, например, с героями Андрея Платонова. В ходе одного такого разрушительного эксперимента гибнет его барабан — собственно, им барабанщик и зарабатывал на жизнь, играя на похоронах.

«Он тогда очень огорчился и стал поступать нехорошо. Он стал обвинять барабанщицу в том, что она испортила ему жизнь.

— Если бы не ты, дура, я бы сейчас играл в Большом театре. Я тебя могу побить.

Тихая женщина очень испугалась. Потому что они жили долго, и он с ней никогда так не говорил. Она взяла с собой книжку и убежала на улицу.

А на улице была ночь и плохо горели фонари, так что бежать можно было, лишь сильно отчаявшись.

Барабанщик понял это, и ему стало очень стыдно. Он тогда пошел к водопроводной колонке, а сам был волосатый. Он разделся, облился холодной водой, вернулся в дом и вспорол пуховую перину.

Вывалялся весь в пуху и пошел искать барабанщицу.

Он нашел ее под завалинкой. Она дрожала от страха и смотрела в темноту из темноты.

— Ну, что ты боишься, дура? — сказал пуховый барабанщик. — Ты не бойся.

Барабанщица молчала.

— Ты не бойся, лапушка, — сказал барабанщик, который был бойкий. — Я не намазался дегтем, я не намазался медом. Я облился водой, и тебе будет легко отмыть меня. Ты хочешь меня отмыть?

— Хочу, — ответила женщина.

Она вылезла из-под завалинки и забормотала: «Хочу, хочу, хочу».

И они вернулись в дом. Барабанщик обнял барабанщицу. Она нагрела воды в большом баке. Вылила воду в корыто и стала отмывать барабанщика.

А он сидел в корыте и пускал ртом мыльные пузыри, чтобы барабанщица не плакала, а смеялась».

Само название рассказа отсылает к известным строкам Булата Окуджавы — мол, барабанщик, где барабанщица твоя? Вот он нашел ее. Принц женился на принцессе. И что же было дальше? Ничего хорошего, как мы видели. Герой, дошедший до саморазрушительного предела, опомнился, совершил акт самопоругания — и предложил своей партнерше воскресить его, не более, не менее… «Отмыть» от позора, от символической смерти. Мы снова видим замкнутый, повторяющийся цикл «разрушение — символическая смерть — воскрешение», и снова алкоголь выполняет здесь функцию важнейшего посредника. Такова вот русская жизнь — не всякая ли жизнь, впрочем? Необычайно поэтичный и трогательный рассказ отсылает даже не к фольклору, но к библейским притчам. Как писала Г. Нефагина об этом и других рассказах Евгения Попова 60–70-х, здесь передается «состояние будничной бездны, в которой смешались боль и нежность, добро и зло, фарс и трагедия». Ирония здесь «на месте» — она снижает пафос, без которого разговор о воскрешении в европейской традиции невозможен. Но открытый пафос в этот период для Евгения Попова связан скорее с громкими пропагандистскими заявлениями. Что для него, конечно, абсолютно неприемлемо. То есть, ирония, как и рекомендовал Шукшин, играет здесь «служебную», «технологическую» роль, не становясь основой рассказа.

Кстати, по этому рассказу был снят одноименный фильм — в Болгарии, в 1990 году.

Второй рассказ, «Жду любви невероломной» (так будет назван и первый сборник Евгения Попова, который выйдет на родине в 1989 году), посвящен жизни так называемых слобожан, тех самых «зависших» между городом и деревней жителей предместья.

Завязка здесь также фольклорная — но уже не сказочная, а что-то из разряда «быличек», русских фольклорных рассказов о различных чудесных происшествиях.

«У нас в слободе Весны жил один мужик по имени Васька Метус, и у него была жена.

— Ну и что? — скажете вы. — Многие живут в этой слободе, и почти у всех есть жены.

А то, что он свою жену ужасно ненавидел и хотел бы от нее избавиться.

— Ну и что! — опять скажете вы. — Многие ужасно ненавидят своих жен и хотели бы от них избавиться.

А вот то. Слушайте. Многие-то многие, а Метус при живой жене взял да и привел в дом еще одну».

Дальше описываются приключения и злоключения этого самого Метуса, про которого собственная мать-старушка коротко и справедливо говорит постоянно одно: «дурак». Тратя свои силы, натурально, на что попало, ведя себя по отношению к окружающим как полный придурок (говоря по-нынешнему), обманывая женщин и сам будучи многажды обманут, «мутя» темные делишки с восточным человеком Рафаилом, Васька в конце концов получает полтора года колонии и отбывает в места не столь отдаленные. Остается в их избушке одна мать. Кончается короткий рассказ так.

«Ваське дали полтора года, и никто не знает, что он будет делать, когда вернется. Начнет, наверное, с того, что опять поджениться.

А сейчас — он никому не нужен. Так, по-видимому? Кому он нужен? Жены нет. Рафаил уехал. Так, по-видимому?

Нет, не так.

Ибо старушка мама Макарина Савельевна молча и упорно дожидается своего дурака, которого она родила, растила, купала в корыте, где он говорил «гули-гули», нянчила, покупала ему букварь и стегала ремнем за двойки из школы…

Дожидается, питаясь картошкой, солеными огурцами, свеклой, капустой, грибами — словом, всем тем, за что не нужно платить ни копейки денег и что бесплатно растет у хозяев на родной земле».

Последнюю фразу можно считать ключевой. Родная земля — она такая, много чего растет на ней, и доброго, и дурацкого, и полезные овощи, и сорняки. И вот — вырос Васька. Он — такой же, как эта земля, эта страна, деятельный, сильный (вечно с какими-то прожектами), но бестолковый и беспутный. Мы не видим ни слова авторского осуждения. Автор не критикует — автор сожалеет. Жалко и фольклорную мать-старушку. Жалко и бабенок,

брошенных Васькой. Жалко и самого Ваську. Но мы не сомневаемся, что точно так же, как он буянил, он мог бы совершать подвиги или делать открытия. А может еще и сделает чего-то такое, хорошее… Сибиряк же! И еще, важное: он по-прежнему нужен. Своей матери. Своей родине, в конце концов.

Понятно, почему эти рассказы в то время произвели такой эффект. И почему мимо них не прошел Василий Шукшин.

Евгений Попов не раз говорил о том, что своеобразной основой его произведений стала так называемая «народная смеховая культура». Наиболее полный ее очерк мы находим в замечательной книге Д. С. Лихачева и А. М. Панченко «Смех в Древней Руси». Смеховая система является неким антимиром, куда переносилось все неблагополучное и неправильное. Смех в этом антимире выступает разрушителем настоящего мира, но создает ему взамен мир свободный и неупорядоченный. Функция смеха, несомая «потешниками», заключалась в создании некоей «отдушины» для общества. Со смехом уходило психологическое напряжение, страхи. Смех строит антимир, как было сказано выше, где отвергнуты социальное неравенство, несправедливость. В качестве примера подобного развенчания можно указать на осмеяние Христа перед распятием.

В рассказах Евгения Попова мы видим превеликое множество метаморфоз — и разрушительных, и созидательных. И смех — в диапазоне от мягкой иронии до громового хохота — присутствует здесь практически всегда.

Как пишут Лихачев и Панченко, «авторы средневековых и, в частности, древнерусских произведений чаще всего смешат читателей непосредственно собой. Они представляют себя неудачниками, нагими или плохо одетыми, бедными, голодными, оголяются целиком или заголяют сокровенные места своего тела. Снижение своего образа, саморазоблачение типичны для средневекового и, в частности, древнерусского смеха. Авторы притворяются дураками, валяют дурака, делают нелепости и прикидываются непонимающими. На самом же деле они чувствуют себя умными, дураками же они только изображают себя, чтобы быть свободными в смехе. Это их «авторский образ», необходимый им для их «смеховой работы», которая состоит в том, чтобы

«дурить» и «воздурять» все существующее. «В песнях поносных воздуряем тя», — так пишет автор «Службы кабаку», обращаясь к последнему».

Такого «саморазоблачения» в рассказах Евгения Попова 60–70-х годов более чем достаточно. Вспомним хотя бы историю барабанщика и его барабанщицы.

Ну и наконец «антисоветские» мотивы в рассказах Евгения Попова, на которые ему указывали едва ли не с самого начала, а вскоре после публикации в «Новом мире» начнут и предъявлять, тоже имеют «опору» в смеховой культуре. «Смысл древнерусских пародий заключается в том, чтобы разрушить значение и упорядоченность знаков, обессмыслить их, дать им неожиданное и неупорядоченное значение, создать неупорядоченный мир, мир без системы, мир нелепый, дурацкий — и сделать это по всем статьям и с наибольшей полнотой. Полнота разрушения знаковой системы, упорядоченного знаками мира и полнота построения мира неупорядоченного, мира «антикультуры», во всех отношениях нелепого, — одна из целей пародии». Сказано как будто про прозу Евгения Попова раннего периода! Советская идеология пыталась до отказа наполнить символический мир советского человека, его повседневность своими идеологическими знаками. И создание мира хаотичного, неупорядоченного, анархистского, есть прямая антисоветская деятельность, хотя бы про власть, политику, партию и т. п. не упоминалось бы ни в одном слове.

В общем, рассказы Евгения Попова, и это было очевидно всякому, заслуживали сколь угодно глубокого разбора (его не последовало) и внимания публики (а вот с этим было все в порядке). Ведь казалось бы, публикация всего двух, небольших при этом рассказов (и даже не таких эффектных, как про бича Парамота). Но настолько наша страна была литературоцентричной, и настолько редким было в официальной печати появление «молодой» литературы, что публикация имела эффект разорвавшейся бомбы.

Евгений Попов вспоминает это дело так: «Я «проснулся знаменитым». Думаю, что по трем причинам.

1. В 1976 году был бум популярности Шукшина.

2. Печатали в журналах такое дерьмо, что моя публикация была явлением аномальным.

3. Ну и рассказы были, прямо говоря, неплохие».

Полагаем, можно согласиться со всем. А какая из трех причин главнее? Бог весть! Главное, что все совпало. Звезды, понимаете ли, сошлись…

Говорит Евгений Попов

И еще одна пикантная деталь. Несколько лет назад Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина рассказала мне, что после нашей первой встречи, после полуторачасовой беседы Василий Макарович вышел на кухню в глубокой задумчивости.

— Лидка, как ты думаешь, вот парень у меня сейчас был, он русский или еврей?

— Не знаю, Вася, я же к нему не присматривалась, — ответила Лидия Николаевна.

— Говорит, что из Сибири, — продолжал размышлять Шукшин.

— Так ведь в Сибири евреи тоже живут…

— Ладно. Русский или еврей — все рано буду ему помогать, парень талантливый, — резюмировал Шукшин.

Учитель и ученик

Как видим, для Шукшина было значимо, что наш герой — сибиряк (это видно и по предисловию, во время написания которого точной информации на этот счет у Шукшина не имелось). Кстати сказать, Попов — совсем не случайная фамилия для Василия Макаровича. Это девичья фамилия матери Шукшина — более того, его собственная до получения паспорта! Вполне возможен был вариант, что вместо писателя Василия Шукшина мы бы знали писателя Василия Попова… Автобиографичен небольшой цикл «Из детских лет Ивана Попова» (1968).

С Василием Шукшиным Евгений Попов лично встречался всего два раза. Но о его прозе, его героях он много думает все это время — как и о самой фигуре Шукшина.

В 2011 году, находясь на Алтае, где проводятся Шукшинские чтения, Евгений Попов дал интервью местным журналистам. Речь шла в том числе и о Василии Макаровиче.

«— Вы сказали, что учились у Шукшина терпимости. Может, терпению?

— Терпимости, толерантности. Не бросаться на людей, как собака. Люди разные, среди его персонажей есть отвратительные и омерзительные. Но мы живем рядом с ними, и, если мы начнем хватать друг друга за глотки, ничего хорошего не будет.

— Мне кажется, агрессия в обществе и нетерпимость к чужому мнению все возрастает: думаешь не так, как я, — гад ты, к стенке тебя.

— Как ни странно, я думаю, что сейчас уровень терпимости выше, чем тогда. И в этом заслуга Шукшина тоже. У него были крайности, но он был человеком, который работал над собой. Он, как мне рассказывала Ахмадулина, иногда корчил из себя деревенского, особенно поначалу. Он был очень умный и хитрый мужик: «из деревни, в сапогах», а сам эрудированный, неслучайно его уважало все киношное сообщество. Мне кажется, в этом смысле ему сильно помогло кино. Когда человек поступает в литературный институт, он попадает в замкнутое пространство. Языками тогда почти никто не владел, писателей западных не знали, и что там делается, на Западе… А вот во ВГИКе заставляли смотреть западные фильмы. И Шукшин с Алтая прекрасно знал западную культуру, западное кино, по крайней мере. И это чувствуется. Очень высокий уровень и кинокультуры, и культуры прозы, чем он и отличается для меня от других «деревенщиков». Я его не считаю «деревенщиком», кстати, как не считал «деревенщиком» Астафьева.

— Это все интересно слышать, потому что очень многие считают Василия Макаровича человеком скорее беспощадным ко всему, что он считал злом.

— Он и был беспощадный, он нервный такой был… Он был колючий, разумеется, но это была самозащита. Он не был мелочным, и он, как мне кажется, не был таким — «все плохо». Этого у него не было. И «все плохие» не было. И «всем воевать» тоже не было».

В том же интервью Евгений Попов сказал, что у него было два учителя, два Василия — Шукшин и Аксенов. Конечно, с Аксеновым ему довелось общаться гораздо больше, про Шукшина они с ним тоже говорили.

«— А что Аксенов говорил о Шукшине?

— Что он замечательный писатель, но темный человек. Темный. Я ему доказывал, что это не так. Посмотри, говорил, у тебя в рассказе «На полпути к Луне» Кирпиченко — совершеннейший шукшинский чудик. Я думаю, что Аксенова в какой-то степени убедил, я ему говорил: «У вас даже биографии одинаковые. У тебя родители сидели оба, а у Шукшина отца расстреляли. А то, что темный он, — что же он, темный, такие фильмы снимал?» То есть, понимаете, я это к чему? Репутация у Шукшина такая, что с этого боку они считали его — давайте прямо говорить — почвенником и антисемитом. Был такой писатель Фридрих Горенштейн, у него есть пьеса под названием «Споры о Достоевском». Там евреи заседают в ученом совете, принимают диссертации на тему «Атеизм Достоевского», а полусумасшедший русский талантливый человек Васька Чернокопов, влюбленный пьяница, ходит по Москве с портфелем, где у него восемь томов Достоевского, и отпускает антисемитские реплики. Так вот, Горенштейн, который был таким стопроцентным евреем, даже грассировал специально, сказал, что прототип этого Васьки — Шукшкин, он терпеть не мог Шукшина. Я ему и сказал: вот видишь, ты его терпеть не можешь, а он толерантнее тебя был, получается».

Очень характерное, очень значимое различие в оценке. Аксенов видит в Шукшине человека «не из своего лагеря», что исключает близость по части поэтики. Это, конечно, поколенческое. Попов, как человек нового поколения, «политические» разногласия справедливо игнорирует, указывая на очевидное сходство, прежде всего, в писательском мировосприятии — внимании к определенным аспектам жизни, к определенным героям. Упрощая, можно считать, что в рассказах Евгения Попова соединены сущностные черты поэтики обоих Василиев. Не случайно Шукшину не очень понравилась поповская ирония — то, что у него представляет как раз «аксеновскую линию».

Совершенно неправильно видеть «шукшинскую линию» в нудном описании крестьянских хлопот и невзгод, которым известны те, кто объявляет себя творческими наследниками писателя. Шукшинские вещи всегда на сломе, «сшибке», на резком повороте, на парадоксе — на конфликте. Он сам считал главным конфликт условного «города» со столь же условной «деревней». Возможно, проживи он подольше (ну что такое 45 лет для прозаика!), конфликт бы сместился в иную сторону.

У Попова в рассказах 60–70-х (они тоже, подобно шукшинским, все «на изломе») конфликт теряет свою политическую окраску, он, так сказать, «семантизируется» — уходит вглубь языка. Евгений Попов сталкивает различные языковые пласты прежде, чем их носителей. Такой модернистский подход Шукшину, конечно, был в целом чужд (за исключением нескольких в высшей степени необычных для того времени вещей, вроде пророческой сказки-притчи «До третьих петухов» — там также в основе действия конфликт языковой). В то время как Аксенов во многих вещах дает нам как раз «очищенное» от реальности столкновение героев и идей (самый очевидный пример — «Затоваренная бочкотара»). Кстати, обе упомянутые вещи, «Петухов» и «Бочкотару», написанные практически в одно время, было бы крайне интересно проанализировать «в паре».

В первой главе мы уже писали об особом отношении Евгения Попова как писателя к алкогольной теме. Очень занимает алкоголь и Шукшина. Исследователи с малой родины Василия Макаровича Вячеслав Десятов и Александр Куляпин написали целую работу под названием «Алкогольный миф Василия Шукшина». Считаем, что тут самое место процитировать ее уже для того, чтобы увидеть еще одну «зону сходства» Шукшина и Попова.

«Особенность русской ментальности, по Шукшину, в том, что «мужик наш середки в жизни не знает», поэтому, «если уж пить, так пить, а так даже и затеваться неохота. Лучше уж вовсе не пить, чем по губам-то мазать». Немца же «как с малолетства на середку нацелили, так он живет всю жизнь — посередке. Ни он тебе не напьется, хотя и выпьет, и песню даже не затянет… Но до края он никогда не дойдет».

Столь кардинальное различие «коллективных представлений» определяет столь же кардинальные различия функций алкоголя в русской и западноевропейской культурах. Обращение к алкоголю может быть вызвано двумя противоположными устремлениями: человек либо пытается стать самим собой (т. е. сбросить маску), либо, наоборот, хочет стать другим (опьянение — полный аналог маски). При всей спорности обобщений такого масштаба все же можно предположить, что если европеец ориентируется преимущественно на первую из указанных функций алкоголя, то русский — на вторую.

Среди немногих персонажей Шукшина, сохраняющих самоидентификацию в состоянии опьянения, — Борис Яковлев («Вечно недовольный Яковлев», 1974). Это тип человека «обозленного в душе, опустошенного» и, самое главное, оторвавшегося от почвы. В отношении же шукшинских героев национально-символического плана водка, говоря словами Р. Барта, — это «субстанция прежде всего конверсивная, способная оборачивать ситуации и состояния людей, из всех вещей извлекать их противоположность». «Тверезый я совсем другой человек», — недоумевает Иван Петин из рассказа «Раскас». То же самое могли бы сказать о себе Бронька Пупков («Миль пардон, мадам!», 1968), Митька Ермаков («Сильные идут дальше», 1970), Максим Яриков («Верую!», 1970), Иван Расторгуев («Печки-лавочки», 1975) и др. Их истории легко сводимы к общему инварианту: герой — человек вполне заурядный, и даже наделенный комплексом неполноценности (индивидуальной или социальной), в состоянии опьянения приписывает себе совершение небывалых подвигов, невероятных научных открытий, фантастических изобретений. Бронька Пупков рассказывает о своем участии в покушении на Гитлера; Митька Ермаков якобы находит лекарство от рака; Максим Яриков, оказывается, изобрел мощный двигатель величиной со спичечную коробку. Впрочем, в вечном русском стремлении «дойти до края» герой видит себя и в иной ипостаси — страдающим, униженным, виновным. Броньку мучительно преследует «воспоминание» о промахе, Максим Яриков кается, что передал чертежи американцам, Митька Ермаков воображает себя фальшивомонетчиком.

Функция мотива опьянения в творчестве Шукшина, разумеется, не сводится только к иллюстрированию национальных стереотипов, через него реализуются многие универсальные оппозиции («истина / ложь», «память/ забвение», «реальность/ мечта», «здоровье/ болезнь» и др.). Тем не менее исключительно важное значение этот мотив получает именно потому, что Шукшин включает его в сферу национальной топики, приоритетной в творчестве писателя».

Полагаем, что и Евгений Попов включает алкоголь в «сферу национальной топики». И во многих его рассказах это «субстанция прежде всего конверсивная»… Повторим, это только одна из многих «точек пересечения» наших авторов.

Как бы обобщая свои высказывания о Шукшине, Евгений Попов позже напишет в одноименном эссе: «Шукшин таинственным образом сумел задеть те божьи струны беззвучной российской души, которые, оказывается, есть даже у самого отъявленного гражданина нашей страны — той страны, где вечно пляшут и поют, сажают, выпускают, убивают, рожают, возносят, ниспровергают, молятся, каются и грешат снова. Где огромные просторы ограничены для многих тесным пространством тюремной камеры или блочной квартиры, где не зарекаются ни от сумы, ни от тюрьмы, а земное человеческое бытие никогда не было комфортным и предсказуемым».

Ну а еще Шукшин во время одной из встреч совершенно недвусмысленно посоветовал нашему герою уезжать из родного города. За что тот ему признателен до сих пор.

Собственно, так Евгений Попов и поступил. Еще один крутой поворот в его биографии! Случился второй, и окончательный, отъезд в столицу в 1975 году. И на момент публикации в «Новом мире» бывший красноярец был уже жителем подмосковного города Дмитрова, обитателем квартиры барачного типа с удобствами на улице. Вот на что он сменял свою «центровую» красноярскую квартиру!

Слово нашему герою: «Я жил тогда в городе Дмитрове Московской области, обменяв трехкомнатную квартиру в центре города К., стоящего на великой сибирской реке Е., впадающей в Ледовитый океан, на четвертушку шлакобетонного барака в рабочем поселке завода фрезерных станков, которому острые на язык аборигены дали название «негритянский поселок».

Потому что из всех достижений цивилизации XX века там имелось лишь электричество. Сортир был на три барака один, газа не было даже баллонного, Интернет еще не изобрели. Я там был очень доволен жизнью, как мещанин, и счастлив. Много читал, писал, ходил по субботам в баню. Необходимые для существования деньги зарабатывал трудом, не имеющим никакого отношения к литературе и словам, ее составляющим».

Кстати, и о самой новомирской публикации Евгений Попов узнал, будучи в Красноярске по линии Художественного фонда РСФСР, где продолжил работать — и работать успешно, объездив всю страну… О своем перемещении из Сибири в Подмосковье он не жалел. Как и о том, что вскоре в его рассказах появятся совсем не сибирские места и герои (против чего, как помним, предупреждал Шукшин). С другой стороны, где и чем живешь, о том и надо писать.

А ведь, надо полагать, был соблазн остаться видным деятелем неформальной культуры Красноярска. Были и перспективы со временем вписаться в культуру формальную. Но…

Как говорит наш герой, «я и в Москву-то переехал, может быть, еще и потому, что в родном городе у меня было, как мне посулил Василий Макарович Шукшин, «три пути-дороженьки»: 1. Сесть в тюрьму за «длинный язык»; 2. Спиться; 3. Стать комсомольским писателем, помощником партии. Меня все три варианта не устраивали».

В общем, публикация в «Новом мире», несомненно, резко увеличила, как говорят сегодня, символический капитал нашего героя. Однако в части официальной литературной карьеры (ну, например, публикаций) все оставалось ровно на том же самом уровне. То есть, ни на каком.

А впереди был «Метро́поль».

Говорит Евгений Попов

Тут меня стали приглашать в редакции, где еще вчера отказывали. Я принесу, бывало, пяток рассказов, а мне говорят: «Прелестные рассказы, но ты же понимаешь, Женя, что они

НЕ ПРОЙДУТ. Принеси что-нибудь полегче». Я и носил «полегче». Два рассказа чудом выскочили в «Дружбе народов». Витя Славкин, когда мы с ним тогда познакомились, а потом подружились, сказал мне:

– А почему ты к нам в «Юность» рассказы не несешь?

– Так я носил, — ответил я.

– И что?

– Отказали.

– Да ты, наверное, в отдел прозы носил, а нужно было ко мне, в отдел сатиры и юмора, — взволновался Славкин.

– Так я и туда носил…

– И что?

– Отказали.

– Кто отказал? — возопил Славкин.

– Да ты и отказал. У меня отказ с твоей подписью есть.

– Но я же их не читал? — застонал Славкин.

– А я здесь причем? — ответил безжалостный я.

200 ненапечатанных рассказов! 200:5=40. Сорок заходов! А потом литературные дамочки отчего-то удивлялись и корили меня, что я подался в альманах «Метро́поль»

– Славы захотелось? — сказала одна из них».